и преуменьшать, так как на уровне базовых традиций, обычаев, бытового поведения и обыденного сознания религиозные корни различных этнокультур в целом были очень сильны. Об этом, например, свидетельствует ситуация в посткоммунистической Югославии, где при этнической близости населяющих ее народов после десятилетий официального атеизма религия стала одним из решающих факторов противостояния в обществе и распада государства.

Основной интерес для нашего анализа представляет именно позиция третьей категории советских воинов-«афганцев», – и потому, что за исключением начального этапа войны они представляли подавляющее большинство в «ограниченном контингенте», и потому, главным образом, что восприятие это особенно ценно с позиции наибольшей разницы потенциалов мусульманской и христианской культур.

Следует подчеркнуть несколько важнейших параметров самой ситуации восприятия и ряд вытекающих из нее следствий. Во-первых, это было не «дистанционное» восприятие, при котором в общественном сознании стабильно существует некий набор стереотипов и предрассудков, а непосредственно личностное, действенное, в прямом контакте, следствием чего был конкретный опыт взаимоотношений, а само восприятие было чувственно-образным и эмоциональным. Не случайно значительная часть источников, создававшихся в ходе событий в Афганистане и даже после их окончания, фиксирует прежде всего чувства и переживания участников, а уже потом осмысление и анализ того, что там происходило.

Во-вторых, ситуация восприятия была экстремальной, как всякая война, в особенности на чужой территории. И тут, безусловно, на отношение советских военнослужащих к жителям Афганистана накладывался сложный комплекс чувств: их воспринимали не только как представителей иной культуры, но и как потенциальных или реальных противников, которые могут в любой момент выстрелить, напасть из-за угла, заманить в засаду, захватить в плен, убить. И здесь традиционный стереотип о жестокости и коварстве востока очень часто находил подтверждение на практике, причем особенно в отношении к иноверцам-европейцам.

В-третьих, поскольку ядром СССР являлись Россия и славянские республики, то фактически и афганскими моджахедами, и советскими войсками война воспринималась как противостояние культур, только одни это открыто формулировали, призывая к джихаду (священной войне против «неверных»), а другие под лозунгом интернациональной помощи внедряли в чужую среду свои, чуждые ей идеи.

В-четвертых, важной характеристикой ситуации была ее крайняя противоречивость. Советский ограниченный контингент выступал, с одной стороны, «классовым» союзником «народно-революционной» власти Кабула; с другой – воспринимался как агрессор многочисленными, разношерстными ее оппонентами, за которыми стояла огромная часть афганского народа. Советские войска вмешались во внутренний политический конфликт, в гражданскую войну, что сразу изменило ее характер: противники центральной власти фактически объявили войну национально-освободительной и повели ее под религиозными знаменами. Факт появления чужеземных солдат исключительно свободолюбивым, независимым афганским народом был воспринят как иностранная интервенция[11]. И чем активнее были советские военные операции в поддержку Кабульского правительства, тем сильнее возрастало сопротивление оппозиции, привлекавшей на свою сторону все более широкие слои населения.

Это не могли не замечать и советские военнослужащие. Отсюда и крайняя противоречивость восприятия ими самой войны и афганского народа. С одной стороны, некоторая романтизация событий как следствие официального лозунга об интернациональном долге, братской помощи афганским революционерам, защите государственных интересов СССР и его южных границ; с другой – личный опыт жесткого противостояния с опасным и жестоким врагом, ведущим партизанскую войну, при отсутствии четкой грани между мирными жителями и душманами. Несомненно, на восприятие войны, а через нее и афганского общества, влиял тот факт, что противниками «народной власти» почему-то